

# РУССКІЙ СБОРНИКЪ

---

ТОМЪ I

ЧАСТИ I — II

---

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВЪ НА ЖУРНАЛЪ „ГРАЖДАНИНЪ“

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ТИПОГРАФИИ КН. В. В. ОБОЛЕНСКАГО, НИКОЛАЕВСКАЯ, № 8

1877



# РУССКІЙ СБОРНИКЪ

---

Томъ I

ЧАСТИ I — II

---

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВЪ НА ЖУРНАЛЪ „ГРАЖДАНИНЪ“

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ТИПОГРАФИИ КН. В. В. ОВОЛЕНСКАГО, НИКОЛАЕВСКАЯ, № 8

1877



# К Р О Т К А Я.

Фантастическій разсказъ.



## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

### I.

Кто былъ я и кто была она.

... Вотъ пока она здѣсь, — еще все хорошо: подхожу и смотрю поминутно; а унесутъ завтра и — какъ же я останусь одинъ? Она теперь въ залѣ на столѣ, составили два ломберныхъ, а гробъ будетъ завтра, бѣлый, бѣлый гробеналъ, а впрочемъ не про то... Я все хожу и хочу себѣ уяснить это. Вотъ уже шесть часовъ, какъ я хочу уяснить и все не соберу въ точку мыслей. Дѣло въ томъ, что я все хожу, хожу, хожу... Это вотъ какъ было. Я просто разскажу по порядку. (Порядокъ!) Господа, я далеко не литераторъ, и вы это видите, да и пусть, а разскажу какъ самъ понимаю. Въ томъ-то и весь ужасъ мой, что я все понимаю!

Это если хотите знать, т. е., если съ самаго начала брать, то она, просто за просто, приходила ко мнѣ тогда закладывать вещи, чтобъ оплатить публикацію въ „Голосъ“ о томъ, что вотъ дескать такъ и такъ, гувернантка, согласна и въ отъѣздъ, и уроки давать на дому, и проч. и проч. Это было въ самомъ началѣ и я конечно не различалъ ея

отъ другихъ: приходитъ какъ всѣ, ну и прочее. А потомъ сталъ различать. Была она такая тоненькая, бѣлокуренькая, средне-высокаго роста, со мной всегда мѣшковата, какъ будто конфузилась (я думаю и со всѣми чужими была такая же, а я разумѣется ей былъ все равно что тотъ, что другой, т. е., если брать какъ не закладчика, а какъ человека). Только что получала деньги, тотчасъ же повертывалась и уходила. И все молча. Другія такъ спорятъ, просятъ, торгуются чтобъ больше дали; эта пѣтъ, что дадутъ... Мнѣ кажется я все путаюсь... Да; меня прежде всего поразили ея вещи: серебряныя позолоченныя сережечки, дрянненькій медальончикъ,—вещи въ двугривенный. Она и сама знала, что цѣна имъ гривенникъ, но я по лицу видѣлъ, что онѣ для нея драгоцѣнность, — и дѣйствительно это все что оставалось у ней отъ папашы и мамашы, послѣ узналъ. Разъ только я позволилъ себѣ усмѣхнуться на ея вещи. То есть, видите ли, я этого себѣ никогда не позволяю, у меня съ публикой тонъ джентльменскій: мало словъ, вѣжливо и строго. „Строго, строго и строго“. Но она вдругъ позволила себѣ принести остатки (т. е. буквально) старой заячьей куцавейки,—и я не удержался и вдругъ сказалъ ей что-то, въ родѣ какъ бы остроты. Батюшки, какъ вспыхнула! Глаза у ней голубые, большіе, задумчивые, но — какъ загорѣлись! Но ни слова не выронила, взяла свои „остатки“ и—вышла. Тутъ-то я и замѣтилъ ее въ первый разъ *особенно* и подумалъ что-то о ней въ этомъ родѣ, т. е. именно что-то въ особенномъ родѣ. Да: помню и еще впечатлѣніе, то есть, если хотите, самое главное впечатлѣніе, синтезъ всего: именно что ужасно молода, такъ молода, что точно четырнадцать лѣтъ. А межъ тѣмъ ей тогда ужъ было безъ трехъ мѣсяцевъ шестнадцать. А впрочемъ я не то хотѣлъ сказать, вовсе не въ томъ былъ синтезъ. На завтра опять пришла. Я узналъ потомъ, что она у Добронравова и у Мозера съ этой куцавейкой была, но тѣ кромѣ золота — ничего не принимаютъ и говорить не стали. Я же у ней

принялъ однажды камей (такъ дрянненькій)—и, осмысливъ, потомъ удивился: я кромѣ золота и серебра тоже ничего не принимаю, а ей допустилъ камей. Это вторая мысль объ ней тогда была, это я помню.

Въ этотъ разъ, т. е. отъ Мозера, она принесла сигарный янтарный мунштукъ — вещица такъ себѣ, любительская, но у насъ опять-таки ничего не стоящая, потому что мы только золото. Такъ какъ она приходила уже послѣ вчерашняго *бунта*, то я встрѣтилъ ее строго. Строгость у меня — это сухость. Однако же, выдавая ей два рубля, я не удержался и сказалъ какъ бы съ нѣкоторымъ раздраженіемъ: „я вѣдь это только *для васъ*, а такую вещь у васъ Мозеръ не приметъ. Слово: *для васъ* я особенно подчеркнулъ, и именно въ *нѣкоторомъ смыслѣ*. Золъ былъ. Она опять выпыхнула, выслушавъ это: *для васъ*, но смолчала, не бросила денегъ, приняла, — то-то бѣдность! А какъ вспыхнула! Я понялъ, что укололъ. А когда она уже вышла, вдругъ спросилъ себя: такъ неужели же это торжество надъ ней стоитъ двухъ рублей? Хе, хе, хе! Помню, что задалъ именно этотъ вопросъ два раза: „стоитъ ли? стоитъ ли?“ И смѣясь разрѣшилъ его про себя въ утвердительномъ смыслѣ. Очень ужъ я тогда развеселился. Но это было не дурное чувство: я съ умысломъ, съ намѣреніемъ; я ее испытать хотѣлъ, потому что у меня вдругъ забродили нѣкоторые на ея счетъ мысли. Это была третья *особенная* моя мысль объ ней.

... Ну, вотъ съ тѣхъ поръ все и началось. Разумѣется, я тотчасъ же постарался разузнать всѣ обстоятельства стороны и ждалъ ея прихода съ особеннымъ нетерпѣніемъ. Я вѣдь предчувствовалъ, что она скоро придетъ. Когда пришла, я вступилъ въ любезный разговоръ съ необычайною вѣжливостью. Я вѣдь недурно воспитанъ и имѣю манеры. Гм. Тутъ-то я догадался, что она добра и кротка. Добрые и кроткіе не долго сопротивляются и хоть вовсе не очень открываются, но отъ разговора увернуться никакъ не умѣютъ: отвѣчаютъ скупю, но отвѣчаютъ, и чѣмъ дальше, тѣмъ

больше, только сами не уставайте, если вамъ надо. Разумѣется, она тогда мнѣ сама ничего не объяснила. Это потомъ уже про „Голосъ“ и про все я узналъ. Она тогда изъ послѣднихъ силъ публиковалась, сначала, разумѣется, заносчиво: „дескать, гувернантка, согласна въ отъѣздъ, и условія присылать въ пакетахъ“, а потомъ: „согласна на все, и учить, и въ компаньонки, и за хозяйствомъ смотрѣть, и за больной ходить, и шить умѣю, и т. д. и т. д., все извѣстное! Разумѣется, все это прибавлялось къ публикаціи въ разные приемы, а подконецъ, когда къ отчаянію подошло, такъ даже и „безъ жалованья, изъ хлѣба“. Нѣтъ, не нашла мѣста! Я рѣшился ее тогда въ послѣдній разъ испытать: вдругъ беру сегодняшній „Голосъ“ и показываю ей объявленіе: „Молодая особа, круглая сирота, ищетъ мѣста гувернантки къ малолѣтнимъ дѣтямъ, преимущественно у пожилаго вдовца. Можетъ облегчить въ хозяйствѣ“.

— Вотъ видите, эта сегодня утромъ публиковалась, а къ вечеру навѣрно мѣсто нашла. Вотъ какъ надо публиковаться!

Опять вспыхнула, опять глаза загорѣлись, повернулась и тотчасъ ушла. Мнѣ очень поправилось. Впрочемъ, я былъ тогда уже во всемъ увѣренъ и не боялся: мундштуки-то никто принимать не станетъ. А у ней и мундштуки уже вышли. Такъ и есть, на третій день приходитъ, такая блѣдненькая, взволнованная, — я понялъ что у ней что-то вышло дома, и дѣйствительно вышло. Сейчасъ объясню, что вышло, но теперь хочу лишь припомнить, какъ я вдругъ ей тогда шiku задалъ и выросъ въ ея глазахъ. Такое у меня вдругъ явилось намѣреніе. Дѣло въ томъ, что она принесла этотъ образъ (рѣшилась принести)... Ахъ, слушайте! слушайте! Вотъ теперь уже началось, а то я все путался... Дѣло въ томъ, что я теперь все это хочу припомнить, каждую эту мелочь, каждую черточку. Я все хочу въ точку мысли собрать и—не могу, а вотъ эти черточки, черточки..

Образъ Богородицы. Богородица съ младенцемъ, домаш-



ній, семейный, старинный, риза серебряная золоченая — стоит — ну, рублей шесть стоит. Вижу, дорогъ ей образъ, закладываетъ весь образъ, ризы не снимая. Говорю ей: лучше бы ризу снять, а образъ унесите; а то образъ все-таки какъ-то того.

— А развѣ вамъ запрещено?

— Нѣтъ, не то что запрещено, а такъ можетъ быть вамъ самимъ...

— Ну, снимите.

— Знаете чѣмъ, я не буду снимать, а поставлю вонъ туда въ кіотъ, — сказалъ я, подумавъ, — съ другими образами, подъ лампадкой (у меня всегда, какъ открылъ кассу, лампадка горѣла), и просто за просто возьмите десять рублей.

— Мнѣ не надо десяти, дайте мнѣ пять, я непременно выкуплю.

— А десять не хотите? Образъ стоитъ, — прибавилъ я, замѣтивъ, что опять глазки сверкнули. Она смолчала. Я вынесъ ей пять рублей.

— Не презирайте никого, я самъ былъ въ этихъ тискахъ, да еще похуже-съ, и если теперь вы видите меня за такимъ занятіемъ... то вѣдь это, послѣ всего, что я вынесъ...

— Вы мстите обществу? Да? перебила она меня вдругъ съ довольно ѣдкой насмѣшкой, въ которой было, впрочемъ, много невиннаго (т. е. общаго, потому что меня она рѣшительно тогда отъ другихъ не отличала, такъ что почти безобидно сказала). Ага! подумалъ я, вотъ ты какая, характеръ объявляется, новаго направленія.

— Видите, замѣтилъ я тотчасъ же полусутоливо, полутаинственно: „Я — я есмь часть той части цѣлаго, которая хочетъ дѣлать зло, а творить добро“...

Она быстро и съ большимъ любопытствомъ, въ которомъ, впрочемъ, было много дѣтскаго, посмотрѣла на меня:

— Постойте... Что это за мысль? Откуда это? Я гдѣ-то слышала...

— Не ломайте головы, въ этихъ выраженіяхъ Мефистофель рекомендуется Фаусту. Фауста читали?

— Не... невнимательно.

— То есть, не читали вовсе. Надо прочесть. А впрочемъ я вижу опять на вашихъ губахъ насмѣшливую складку. Пожалуйста не предположите во мнѣ такъ мало вкуса, что я, чтобы закрасить мою роль закладчика, захотѣлъ отрекомендоваться вамъ Мефистофелемъ. Закладчикъ закладчикомъ и останется. Знаемъ-съ,

— Вы какой-то странный... Я вовсе не хотѣла вамъ сказать что нибудь такое...

Ей хотѣлось сказать: Я не ожидала, что вы человѣкъ образованный, но она не сказала, за то я зналъ, что она это подумала; ужасно я угодилъ ей.

— Видите, замѣтилъ я, на всякомъ поприщѣ можно дѣлать хорошее. Я конечно не про себя, я кромѣ дурнаго, положимъ, ничего не дѣлаю, но...

— Конечно можно дѣлать и на всякомъ мѣстѣ хорошее, сказала она, быстрымъ и проникнутымъ взглядомъ смотря на меня. „Именно на всякомъ мѣстѣ“, вдругъ прибавила она. О, я помню, я всѣ эти мгновенія помню! И еще хочу прибавить, что когда эта молодежь, эта милая молодежь, захочетъ сказать что нибудь такое умное и проникнутое, то вдругъ слишкомъ искренно и наивно покажетъ лицомъ, что: „вотъ дескать я говорю тебѣ теперь умное и проникнутое“ — и не то чтобъ изъ тщеславія, какъ нашъ братъ, а такъ и видишь, что она сама ужасно цѣнитъ все это и вѣруеть, и уважаетъ, и думаетъ, что и вы все это точно также какъ она уважаете. О, искренность! Вотъ тѣмъ-то и побѣждаютъ. А въ ней какъ было прелестно!

Помню, ничего не забылъ! Когда она вышла, я разомъ порѣшилъ. Въ тотъ же день я пошелъ на послѣдніе поиски и узналъ объ ней всю остальную, уже текущую подноготную; прежнюю подноготную я зналъ уже всю отъ Лукерьи, которая тогда служила у нихъ и которую я уже нѣсколько

дней тому подкупилъ. Эта подноготная была такъ ужасна, что я и не понимаю, какъ еще можно было смѣяться, какъ она давеча, и любопытствовать о словахъ Мефистофеля, сама будучи подъ такимъ ужасомъ. Но — молодежь! Именно это подумалъ тогда объ ней съ гордостью и съ радостью, потому что тутъ вѣдь и великодушіе: дескать хоть и на краю ибели, а великія слова Гёте сіяютъ. Молодость всегда хоть капельку и хоть въ кривую сторону да великодушна. То есть, я вѣдь про нее, про нее одну. И главное я тогда смотрѣлъ ужъ на нее, какъ на мою, и не сомнѣвался въ моемъ могуществѣ. Знаете, пресладострастная это мысль, когда ужъ не сомнѣваешься-то.

Но что со мной. Если я такъ буду, то когда я соберу все въ точку? Скорѣй, скорѣй — дѣло совсѣмъ не въ томъ, о Боже!

## II.

### Брачное предложеніе.

„Подноготную“, которую я узналъ объ ней, объясню въ одномъ словѣ: отецъ и мать померли, давно уже, три года передъ тѣмъ, а осталась она у безпорядочныхъ тетокъ. То есть ихъ мало назвать безпорядочными. Одна тетка вдова, многосемейная, шесть человѣкъ дѣтей, малъ-мала меньше, другая въ дѣвкахъ, старая, скверная. Обѣ скверныя. Отецъ ея былъ чиновникъ, но изъ писарей, и всего лишь личный дворянинъ—однимъ словомъ: все мнѣ на руку. Я являлся какъ бы изъ высшаго міра: все же отставной штабсъ-капитанъ блестящаго полка, родовой дворянинъ, независимъ и проч., а что касса ссудъ, то тетки на это только съ уваженіемъ могли смотрѣть. У тетокъ три года была въ рабствѣ, но все-таки гдѣ-то экзаменъ выдержала,—успѣла выдержать, урвалась выдержать, изъ-подъ поденной безжалостной работы,—а это значило же что нибудь въ стремле-

ни къ высшему и благородному съ ея стороны! Я вѣдь для чего хотѣлъ жениться? А впрочемъ обо мнѣ наплевать, это потомъ... И въ этомъ ли дѣло! — Дѣтей теткинхъ учила, бѣлье шила, а подконецъ не только бѣлье, а, съ ея грудью, и помыла. Попросту онѣ даже ее били, попрекали кускомъ. Кончили тѣмъ, что намѣревались продать. Тьфу! опускаю грязь подробностей. Потомъ она мнѣ все подробно передала. Все это наблюдалъ цѣлый годъ сосѣдній толстый лавочникъ, но не простой лавочникъ, а съ двумя бакалейными. Онъ ужъ двухъ женъ усахарилъ и искалъ третью, вотъ и наглядѣлъ ее: „тихая, дескать, росла въ бѣдности, а я для сиротъ женюсь“. Дѣйствительно у него были сироты. Присватался, сталъ сговариваться съ тетками, кому же—пятьдесятъ лѣтъ ему; она въ ужасѣ. Вотъ тутъ-то и зачастила ко мнѣ для публикацій въ „Голосѣ“. Наконецъ, стала просить тетокъ, чтобъ только самую капельку времени дали подумать. Дали ей эту капельку, но только одну, другой не дали, заѣли: „Сами не знаемъ что жрать и безъ лишняго рта“. Я ужъ это все зналъ, а въ тотъ день послѣ утрешняго и порѣшилъ. Тогда вечеромъ пріѣхалъ купецъ, привезъ изъ лавки фунтъ конфетъ въ полтинникъ; она съ нимъ сидитъ, а я вызвалъ изъ кухни Лукерью и велѣлъ сходить къ ней шепнуть, что я у воротъ и желаю ей что-то сказать въ самомъ неотложномъ видѣ. Я собою остался доволенъ. И вообще я весь тотъ день былъ ужасно доволенъ.

Тутъ же у воротъ, ей, изумленной уже тѣмъ, что я ее вызвалъ, при Лукерѣ, я объяснилъ, что сочту за счастье и за честь... Вотъ ихъ: чтобъ не удивлялась моей манерѣ и что у воротъ: „человѣкъ дескать прямой и изучилъ обстоятельства дѣла“. И я не вралъ, что прямой. Ну, наплевать. Говорилъ же я не только прилично, т. е. показавъ человѣка съ воспитаніемъ, но и оригинально, а это главное. Чтожъ, развѣ въ этомъ грѣшно признаваться? Я хочу себя судить и сужу. Я долженъ говорить pro и contra, и

говоря. Я и послѣ вспоминалъ про то съ наслажденіемъ, хоть это и глупо: я прямо объявилъ тогда, безъ всякаго смущенія, что вопервыхъ не особенно талантливъ, не особенно уменъ, можетъ быть даже не особенно добръ, довольно дешевый эгоистъ (я помню это выраженіе, я его дорогой иди тогда сочинилъ и остался доволенъ) и что очень, очень можетъ быть заключаю въ себѣ много непріятнаго и въ другихъ отношеніяхъ. Все это сказано было съ особеннаго рода гордостью,—извѣстно какъ это говорится. Конечно я имѣлъ настолько вкуса, что, объявивъ благородно мои недостатки, не пустился объявлять о достоинствахъ: „но дескать взаимнъ того имѣю то-то, то-то и это-то“. Я видѣлъ, что она пока еще ужасно боится, но я не смягчилъ ничего, мало того, видя что боится нарочно усилилъ: прямо сказалъ, что сыта быта будетъ, ну а нарядовъ, театровъ, баловъ—этого ничего не будетъ, развѣ впослѣдствіи, когда цѣли достигну. Этотъ строгій тонъ рѣшительно увлекалъ меня. Я прибавилъ, и тоже какъ можно вскользь, что если я и взялъ такое занятіе, т. е. держу эту кассу, то имѣю одну лишь цѣль, есть дескать такое одно обстоятельство... Но вѣдь я имѣлъ право такъ говорить: я дѣйствительно имѣлъ такую цѣль и такое обстоятельство. Поймите господа, я всю жизнь ненавидѣлъ эту кассу ссудъ первый, но вѣдь въ сущности, хоть и смѣшно говорить саамому себѣ таинственными фразами, а я вѣдь „мстилъ же обществу“, дѣйствительно, дѣйствительно, дѣйствительно! Такъ что острота ея утромъ на счетъ того, что я „мщу“, была несправедлива. То есть видите ли, скажи я ей прямо словами: „Да, я мщу обществу“, и она бы расхохоталась, какъ давеча утромъ, и вышло бы въ самомъ дѣлѣ смѣшно. Ну, а косвеннымъ намекомъ, пустивъ таинственную фразу, оказалось, что можно подкупить воображеніе. Къ тому же я тогда уже ничего не боялся: я вѣдь зналъ, что толстый лавочникъ во всякомъ случаѣ ей гаже меня и что я, стоя у воротъ, являюсь освободителемъ. Понималъ же вѣдь я

это. О, подлости человѣкъ особенно хорошо понимаетъ! Но подлости ли? Какъ вѣдь тутъ судить человѣка? Развѣ не любилъ я ее даже тогда уже?

Постойте: разумѣтся я ей о благодѣяніи тогда ни полслова; напротивъ, о напротивъ: „это я дескать остаюсь облагодѣтельствованъ, а не *вы*“. Такъ что я это даже словами выразилъ, не удержался, и вышло можетъ быть глупо, потому что замѣтилъ бѣглую складку въ лицѣ. Но въ цѣломъ рѣшительно выигралъ. Постойте, если всю эту грязь припоминать, то припомню и послѣднее свинство: я стоялъ, а въ головѣ шевелилось: ты высокъ, строенъ, воспитанъ и—и наконецъ, говоря безъ фанфаронства, ты не дурень собой. Вотъ что играло въ моемъ умѣ. Разумѣтся, она, тутъ же у воротъ, сказала мнѣ *да*. Но... но я долженъ прибавить: она тутъ же у воротъ долго думала, прежде чѣмъ сказала *да*. Такъ задумалась, такъ задумалась, что я уже спросилъ было: „ну что-жь?“ — и даже не удержался, съ такимъ шикомъ спросилъ: „ну что же-съ?“ — съ словомъ-ерсомъ.

— Подождите, я думаю.

И такое у ней было серьезное личико, такое—что ужъ тогда бы я могъ прочесть! А я-то обижался: „неужели, думаю, она между мной и купцомъ выбираетъ?“ О, тогда я еще не понималъ! Я ничего, ничего еще тогда не понималъ! До сегодня не понималъ! Помню, Лукерья выбѣжала за мною вслѣдъ, когда я уже уходилъ, остановила на дорогѣ и сказала впопыхахъ: „Богъ вамъ заплатитъ, сударь, что нашу барышню милую берете, только вы ей это не говорите, она гордая“.

Ну, гордая! Я, дескать, самъ люблю горденькихъ. Гордые особенно хороши, когда... ну когда ужъ не сомнѣваешься въ своемъ надъ ними могуществѣ, а? О низкій, неловкій человѣкъ! О какъ я былъ доволенъ! Знаете, вѣдь у ней, когда она тогда у воротъ стояла, задумавшись, чтобъ сказать мнѣ *да*, а я удивлялся, знаете ли, что у ней могла

быть даже такая мысль: „Если ужъ несчастье и тамъ и тутъ, такъ не лучше ли прямо самое худшее выбрать, т. е. толстаго лавочника, пусть поскорѣй убьетъ пьяный до смерти!“ А? Какъ вы думаете, могла быть такая мысль?

Да, и теперь не понимаю, и теперь ничего не понимаю! Я сейчасъ только что сказалъ, что она могла имѣть эту мысль: что изъ двухъ несчастій выбрать худшее, т. е. куппа? А кто былъ для нея тогда хуже — я, аль купецъ? Купецъ или закладчикъ, цитующій Гете? Это еще вопросъ! Какой вопросъ? И этого не понимаешь: отвѣтъ на столѣ лежитъ, а ты говоришь, вопросъ! Да и наплевать на меня! Не во мнѣ совсѣмъ дѣло... А кстати, что для меня теперь — во мнѣ или не во мнѣ дѣло? Вотъ этого такъ ужъ совсѣмъ рѣшить не могу. Лучше бы спать лечь. Голова болить...

### III.

Благороднѣйшій изъ людей, но самъ же и не вѣрю.

Не заснулъ. Да и гдѣ-жъ, стучить какой-то пульсъ въ головѣ. Хочется все это усвоить, всю эту грязь. О, грязь! О, изъ какой грязи я тогда ее вытащилъ! Вѣдь должна же она была это понимать, оцѣнить мой поступокъ! Правильно мнѣ тоже разными мысли, напримѣръ, что мнѣ сорокъ одинъ, а ей только что шестнадцать. Это меня плѣняло, это ощущеніе неравенства, очень сладостно это, очень сладостно.

Я, напримѣръ, хотѣлъ сдѣлать свадьбу а l'anglaise, т. е. рѣшительно вдвоемъ, при двухъ развѣ свидѣтеляхъ, изъ коихъ одна Лукерья, и потомъ тотчасъ въ вагонъ, напримѣръ, хоть въ Москву (тамъ у меня кстати же случилось дѣло) въ гостиницу, ведѣли на двѣ. Она воспротивилась, она не позволила, и я принужденъ былъ ѣздить къ теткамъ съ почтеніемъ, какъ къ родственницамъ отъ которыхъ беру ее. Я уступилъ, и теткамъ оказано было надлежащее. Я даже подарилъ этимъ тварямъ по сту рублей и

еще общалъ, ей разумѣется про то не сказавши, чтобы не огорчить ее низостью обстановки. Тетки тотчасъ же стали шолковныя. Былъ споръ и о приданомъ: у ней ничего не было, почти буквально, но она ничего и не хотѣла. Мнѣ однако же удалось доказать ей, что совсѣмъ ничего—нельзя, и приданое сдѣлалъ я, потому что кто же бы ей что сдѣлалъ? Ну, да наплевать обо мнѣ. Разныя мои идеи одна-коже я ей всетаки успѣлъ тогда передать, чтобы знала по крайней мѣрѣ. Поспѣшилъ даже можетъ быть. Главное, она съ самаго начала, какъ ни крѣпилась, а бросилась ко мнѣ съ любовью, встрѣчала, когда я пріѣзжалъ по вечерамъ, съ восторгомъ, рассказывала своимъ лепетомъ (очаровательнымъ лепетомъ невинности!) все свое дѣтство, младенчество, про родительскій домъ, про отца и мать. Но я все это упоеніе тутъ же обдалъ сразу холодной водой. Вотъ въ томъ то и была моя идея. На восторги я отвѣчалъ молчаніемъ, благосклоннымъ конечно... но все же она быстро увидала, что мы разница и что я — загадка. А я главное и билъ на загадку! Вѣдь для того, чтобы загадать загадку, я можетъ быть и всю эту глупость сдѣлалъ! Во-первыхъ, строгость,—такъ подъ строгостью и въ домъ ее ввелъ. Однимъ словомъ, тогда, ходя и будучи доволенъ, я создалъ цѣлую систему. О, безъ всякой натуги сама собой вылилась. Да и нельзя было иначе, я долженъ былъ создать эту систему по неотразимому обстоятельству,—чтожъ я въ самомъ дѣлѣ клевету то на себя! Система была истинная. Нѣтъ, послушайте, если ужъ судить человѣка, то судить, зная дѣло... Слушайте!

Какъ бы это начать, потому что это очень трудно. Когда начнешь оправдываться—вотъ и трудно. Видите-ли: молодежь презираетъ, напримѣръ, деньги,—я тотчасъ же налегъ на деньги; я наперъ на деньги. И такъ налегъ, что она все больше и больше начала умолкать. Раскрывала большіе глаза, слушала, смотрѣла и умолкала. Видите-ли: молодежь великодушна, то есть хорошая молодежь, великодушна и по-



ривиста, но мало терпимости, чуть что не такъ и презрѣніе. А я хотѣлъ широкости, я хотѣлъ привить широкость прямо къ сердцу, привить къ сердечному взгляду, не такъ-ли? Возьму пошлый примѣръ: какъ бы я, на примѣръ, объяснилъ мою кассу ссудъ такому характеру? Разумѣется, я не прямо заговорилъ, иначе вышло бы, что я прошу прощенія за кассу ссудъ, а я такъ сказать дѣйствовалъ гордостью, говорилъ почти молча. А я мастеръ молча говорить, я всю жизнь мою проговорилъ молча, и прожилъ самъ съ собою цѣлыя трагедіи молча. О, вѣдь и я же былъ несчастливъ! Я былъ выброшенъ всѣми, выброшенъ и забытъ, и никто-то, никто этого не знаетъ! И вдругъ эта шестнадцати-лѣтняя нахватала обо мнѣ потомъ подробностей отъ подлыхъ людей и думала, что все знаетъ, а сокровенное, между тѣмъ, оставалось лишь въ груди этого человѣка! Я все молчалъ, и особенно, особенно съ ней молчалъ, до самаго вчерашняго дня,—почему молчалъ? А какъ гордый человѣкъ. Я хотѣлъ, чтобъ она узнала сама, безъ меня, но уже не по рассказамъ подлецовъ, а чтобы *сама догадалась* объ этомъ человѣкѣ и постигла его! Принимая ее въ домъ свой, я хотѣлъ полного уваженія. Я хотѣлъ, чтобъ она стояла предо мной въ мольбѣ за мои страданія—и я стоилъ того. О, я всегда былъ гордъ, я всегда хотѣлъ или всего или ничего! Вотъ именно потому, что я не половинщикъ въ счастья, а всего захотѣлъ—именно потому я и вынужденъ былъ такъ поступить тогда: „дескать, сама догадайся и оцѣни!“ Потому что, согласитесь, вѣдь, еслибъ я самъ началъ ей объяснять и подсказывать, вилать и уваженія просить,—такъ вѣдь я все равно, что просилъ бы милостыни... А впрочемъ... а впрочемъ что-жь я объ этомъ говорю!

Глупо, глупо, глупо и глупо! Я прямо и безжалостно (и я напиралъ на то, что безжалостно) объяснилъ ей тогда, въ двухъ словахъ, что великодушіе молодежи прелестно, но—гроша не стоитъ. Почему не стоитъ? Потому, что дешево ей достается, получилось не живши, все это, такъ сказать,

„первыя впечатлѣнія бытія“, а вотъ посмотримъ-ка васъ на трудѣ! Дешевое великодушіе всегда легко, и даже отдать жизнь—и это дешево, потому что тутъ только кровь кипитъ и силъ избытковъ, красоты страстно хочется! Нѣтъ, возьмите-ка подвигъ великодушія трудный, тихій, неслышный, безъ блеску, съ клеветой, гдѣ много жертвы и ни капли славы,—гдѣ вы, сіяющій человѣкъ, предъ всѣми выставлены подлецомъ, тогда какъ вы честиѣ всѣхъ людей на землѣ,—нутка попробуйте-ка этотъ подвигъ, нѣтъ-съ, откажетесь! А я,—я только всю жизнь и дѣлалъ, что носилъ этотъ подвигъ. Сначала спорила, ухъ какъ, а потомъ начала примолкать, совсѣмъ даже, только глаза ужасно открывала слушая, большіе, большіе такіе глаза, внимательные. И... и кромѣ того, я вдругъ увидалъ улыбку, недовѣрчивую, молчаливую, нехорошую. Вотъ съ этой-то улыбкой я и ввелъ ее въ мой домъ. Правда и то, что ей ужъ некуда было идти...

#### IV.

##### Все планы и планы.

Кто у насъ тогда первый началъ?

Никто. Само началось съ перваго шага. Я сказалъ, что я ввелъ ее въ домъ подъ строгостью, однако съ перваго же шага смягчилъ. Еще невѣстѣ, ей было объяснено, что она займется пріемомъ закладовъ и выдачей денегъ, и она вѣдь тогда ничего не сказала, (это замѣтите). Мало того,—принялась за дѣло даже съ усердіемъ. Ну, конечно, квартира, мебель—все осталось попрежнему. Квартира—двѣ комнаты; одна—большая зала, гдѣ отгорожена и касса, а другая—тоже большая, наша комната, общая, тутъ и спальня. Мебель у меня скудная; даже у тетокъ была лучше. Кіотъ мой съ лампадкой, это въ залѣ, гдѣ касса; у меня же въ комнатѣ мой шкафъ и въ немъ нѣсколько книгъ, и укладка, ключи у меня; ну, тамъ постель, столы, стулья. Еще не-

вѣстѣ сказалъ, что на наше содержаніе, то есть на пищу, мнѣ, ей и Лукерѣ, которую я переманилъ, опредѣляется въ день рубль и не больше: „Мнѣ дескать нужно тридцать тысячъ въ три года, а иначе денегъ не наживешь“. Она не препятствовала, но я самъ возвысилъ содержаніе на тридцать копѣекъ. Тоже и театръ. Я сказалъ невѣстѣ, что не будетъ театра и однакожъ положилъ разъ въ мѣсяцъ театру быть, и прилично, въ креслахъ. Ходили вмѣстѣ, были три раза, смотрѣли „Погоню за счастьемъ“ и „Птицы пѣвчія“, кажется (О, наплевать, наплевать!). Молча ходили и молча возвращались. Почему, почему мы съ самаго начала принялись молчать? Сначала вѣдь ссоръ не было, а тоже молчаніе. Она все какъ-то, помню, тогда изъ-подтишка на меня глядѣла; я, какъ замѣтилъ это, и усилилъ молчаніе. Правда, это я на молчаніе наперъ, а не она. Съ ея стороны разъ или два были порывы, бросалась обнимать меня; но такъ какъ порывы были болѣзненные, истерическіе, а мнѣ надо было твердаго счастья, съ уваженіемъ отъ нея, то я принялъ холодно. Да и правъ былъ: каждый разъ послѣ порывовъ на другой день была ссора.

То есть ссоръ не было, опять-таки, но было молчаніе и—и все больше и больше дерзкій видъ съ ея стороны. „Бунтъ и независимость“—вотъ что было, только она не умѣла. Да, это кроткое лицо становилось все дерзче и дерзче. Вѣрите-ли, я ей становился поганъ, я вѣдь изучилъ это. А въ томъ, что она выходила порывами изъ себя, въ этомъ не было сомнѣнія. Ну какъ, напримѣръ, выйдя изъ такой грязи и нищеты, послѣ мытья-то половъ, начать вдругъ фыркать на нашу бѣдность! Видите-съ: была не бѣдность, а была экономія, а въ чемъ надо — такъ и роскошь, въ бѣльѣ, напримѣръ, въ чистотѣ. Я всегда и прежде мечталъ, что чистота въ мужѣ прельщаетъ жену. Впрочемъ она не на бѣдность, а на мое, будто бы, скредство въ экономіи: „дѣли дескать имѣть, твердый характеръ показываетъ“. Отъ театра вдругъ сама отказалась. И все пуще и пуще

насмѣшливая складка... а я усиливаю молчаніе, а я усиливаю молчаніе.

Не оправдываться же? Тутъ главное—эта касса ссудъ. Позвольте-съ: я зналъ, что женщина, да еще шестнадцати лѣтъ, не можетъ не подчиниться мужчинѣ исполнѣ. Въ женщинахъ нѣтъ оригинальности, это — это аксіома, даже и теперь для меня аксіома! Что-жъ такое, что тамъ въ залѣ лежитъ: истина есть истина, и тутъ самъ Милль ничего не подѣлаетъ! А женщина любящая, о, женщина любящая,— даже пороки, даже злодѣйства любимаго существа обоготворяетъ. Онъ самъ не подыщетъ своимъ злодѣйствамъ такихъ оправданій, какія она ему найдетъ. Это великодушно, но не оригинально. Женщинъ погубила одна лишь неоригинальность. И что-жъ, повторяю, что вы мнѣ указываете тамъ на столѣ? Да развѣ это оригинально, что тамъ на столѣ? О—о!

Слушайте: въ любви ея я былъ тогда увѣренъ. Вѣдь бросалась же она ко мнѣ и тогда на шею. Любила значить, вѣрнѣе—желала любить. Да, вотъ такъ это и было: желала любить, искала любить. А главное вѣдь въ томъ, что тутъ и злодѣйствъ никакихъ такихъ не было, которымъ бы ей пришлось подыскивать оправданія. Вы говорите: закладчикъ, и всѣ говорятъ. А что-жъ что закладчикъ? Значить, есть же причины, коли великодушнѣйшій изъ людей сталъ закладчикомъ. Видите, господа, есть идеи... т. е. видите, если иную идею произнести, выговорить словами, то выйдетъ ужасно глупо. Выйдетъ стыдно самому. А почему? Ни почему. Потому, что мы всѣ дрянъ и правды не выносимъ, или ужъ я не знаю. Я сказалъ сейчасъ „великодушнѣйшій изъ людей“. Это смѣшно, а между тѣмъ вѣдь это такъ и было. Вѣдь это правда, т. е. самая, самая правденская правда! Да, я *имѣлъ право* захотѣть себя тогда обезпечить и открыть эту кассу: „Вы отвергли меня, вы, люди то есть, вы прогнали меня съ презрительнымъ молчаніемъ. На мой страстный порывъ къ вамъ вы отвѣтили мнѣ обидой на

всю мою жизнь. Теперь я стало быть въ правѣ былъ оградиться отъ васъ стѣной, собрать эти тридцать тысячъ рублей и окончить жизнь гдѣ-нибудь въ Крыму, на Южномъ берегу въ горахъ и виноградникахъ, въ своемъ имѣніи, купленномъ на эти тридцать тысячъ, а главное вдали отъ всѣхъ васъ, но безъ злобы на васъ, съ идеаломъ въ душѣ, съ любимой у сердца женщиной, съ семьей если Богъ пошлетъ и — помогая окрестнымъ поселянамъ“. Разумѣется, хорошо, что я это самъ теперь про себя говорю, а то что могло быть глупѣе, еслибъ я тогда ей это вслухъ расписалъ. Вотъ почему и гордое молчаніе, вотъ почему и сидѣли молча. Потому, что-жъ бы она поняла? Шестнадцать-то лѣтъ, первая-то молодость, — да что могла она понять изъ моихъ оправданій, изъ моихъ страданій? Тутъ прямолинейность, незнаніе жизни, юныя дешовыя убѣжденія, слѣпота куриная „прекрасныхъ сердець“, а главное тутъ — касса ссудъ и — баста (а развѣ я былъ злодѣй въ кассѣ ссудъ, развѣ не видѣла она, какъ я поступалъ и бралъ-ли я лишнее?)! О, какъ ужасна правда на землѣ! Эта прелесть, эта кроткая, это небо — она была тиранъ, нестерпимый тиранъ души моей и мучитель! Вѣдя я наклевету на себя, если этого не скажу! Вы думаете, я ее не любилъ? Кто можетъ сказать, что я ее не любилъ? Видите-ли: тутъ иронія, тутъ вышла злая иронія судьбы и природы! Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще! (моя въ частности!). Я вѣдь понимаю же теперь, что я въ чемъ-то тутъ ошибся! Тутъ что-то вышло не такъ. Все было ясно, планъ мой былъ ясенъ, какъ небо: „Суровъ, гордъ и въ нравственныхъ утѣшеніяхъ ни въ чьихъ не нуждается, страдаетъ молча“. Такъ оно и было, не лгалъ, не лгалъ! „Увидитъ потомъ сама, что тутъ было великодушіе, но только она не съумѣла замѣтить — и какъ догадается объ этомъ когда-нибудь, то оцѣнитъ вдесятеро и падетъ въ прахъ, сложа въ мольбѣ руки“. Вотъ планъ. Но тутъ я что-то забылъ или упустилъ изъ виду. Не съумѣлъ я что-то тутъ сдѣлать. Но довольно, довольно.

И у кого теперь прощенія просить? Кончено, такъ кончено. Смысли челоуѣкъ, и будь гордъ! Не ты виноватъ!...

Чтожъ, я скажу правду, я не побоюсь стать предъ правдой лицомъ къ лицу: *она* виновата, *она* виновата!...

## V.

### Кроткая бунтуетъ.

Ссоры начались съ того, что она вдругъ вздумала выдавать деньги по-своему, цѣнить вещи выше стоимости и даже раза два удостоила со мной вступить на эту тѣму въ споръ. Я не согласился. Но тутъ подвернулась эта капитанша.

Пришла старуха капитанша съ медальономъ—покойнаго мужа подарокъ, ну, извѣстно, сувениръ. Я выдалъ тридцать рублей. Принялась жалобно ныть, просить, чтобъ сохранили вещь, — разумѣется сохранимъ. Ну, однимъ словомъ, вдругъ черезъ пять дней приходитъ обмѣнять на браслетъ, который не стоилъ и восьми рублей; я разумѣется отказалъ. Должно быть она тогда же угадала чтонибудь по глазамъ жены, но только она пришла безъ меня и та обмѣняла ей медальонъ.

Узнавъ въ тотъ же день, я заговорилъ кротко, но твердо и резонно. Она сидѣла на постели, смотрѣла въ землю, щелкая правымъ носкомъ по коврику (ея жестъ); дурная улыбка стояла на ея губахъ. Тогда я, вовсе не возвышая голоса, объявилъ спокойно, что деньги *мои*, что я имѣю право смотрѣть на жизнь *моими* глазами, и — что когда я приглашалъ ее къ себѣ въ домъ, то вѣдь ничего не скрылъ отъ нея.

Она вдругъ вскочила, вдругъ вся затряслась и—что бы вы думали — вдругъ затопала на меня ногами; это былъ звѣрь, это былъ припадокъ, это былъ звѣрь въ припадкѣ. Я оцѣпенѣлъ отъ изумленія; такой выходки я никогда не ожидалъ. Но не потерялся, я даже не сдѣлалъ движенія,

и опять, прежнимъ спокойнымъ голосомъ прямо объявилъ, что съ сихъ поръ лишаю ее участія въ моихъ занятіяхъ. Она захохотала мнѣ въ лицо и вышла изъ квартиры.

Дѣло въ томъ, что выходитъ изъ квартиры она не имѣла права. Безъ меня никуда, таковъ былъ уговоръ еще въ невѣстахъ. Къ вечеру она воротилась; я ни слова.

На завтра тоже съ утра ушла, на послѣ-завтра опять. Я заперъ кассу и направился къ теткамъ. Съ ними я съ самой свадьбы прервалъ — ни ихъ къ себѣ, ни сами къ нимъ. Теперь оказалось, что она у нихъ не была. Выслушали меня съ любопытствомъ и мнѣ же насмѣялись въ глаза: „Такъ вамъ, говорятъ, и надо“. Но я и ждалъ ихъ смѣха. Тутъ же, младшую тетку, дѣвицу, за сто рублей подкупили и двадцать-пять далъ впередъ. Черезъ два дня она приходитъ ко мнѣ: „Тутъ, говоритъ, офицеръ, Ефимовичъ, поручикъ, бывшій вашъ прежній товарищъ въ полку, замѣшанъ“. Я былъ очень изумленъ. Этотъ Ефимовичъ бо-  
**лѣе** всего зла мнѣ нанесъ въ полку, а съ мѣсяцъ назадъ, разъ и другой, будучи безстыденъ, зашелъ въ кассу подъ видомъ закладовъ, и, помню, съ женой тогда началъ смѣяться. Я тогда же подошелъ и сказалъ ему, чтобъ онъ не осмѣливался ко мнѣ приходить, вспомя наши отношенія; но и мысли объ чемъ нибудь такомъ у меня въ головѣ не было, а такъ просто подумалъ, что нахаль. Теперь же вдругъ тетка сообщаетъ, что съ нимъ у ней уже назначено свиданіе и что всѣмъ дѣломъ орудуетъ одна прежняя знакомая тетокъ, Юлія Самсоновна, вдова, да еще полковница,—къ ней-то дескать ваша супруга и ходитъ теперь“.

Эту картину я сокращу. Всего мнѣ стоило это дѣло рублей до трехсотъ, но въ двое сутокъ устроено былъ такъ, что я буду стоять въ сосѣдней комнатѣ, за притворенными дверями, и слышать первый rendez-vous наединѣ моей жены съ Ефимовичемъ. Въ ожиданіи же, наканунѣ, произошла у меня съ ней одна краткая, но слишкомъ знаменательная для меня сцена.

Воротилась она передъ вечеромъ, сѣла на постель, смотритъ на меня насмѣшливо и ножкой бьетъ о коврикъ. Мнѣ вдругъ, смотря на нее, влетѣла тогда въ голову идея, что весь этотъ послѣдній мѣсяцъ, или лучше двѣ послѣднія передъ симъ недѣли, она была совсѣмъ не въ своемъ характерѣ, можно даже сказать — въ обратномъ характерѣ: являлось существо буйное, нападающее, не могу сказать безстыдное, но безпорядочное и само ищущее смятенія. Напращивающее на смятеніе. Кротость однако же мѣшала. Когда этакая забуйствуетъ, то хотя бы и перескочила мѣру, а все видно, что она сама себя только ломитъ, сама себя подгоняетъ, и что съ цѣломудріемъ и стыдомъ своимъ ей самой, первой, справиться невозможно. Оттого-то этикія и высказываютъ порой слишкомъ ужъ не въ мѣрку, такъ что не вѣришь собственному наблюдающему уму. Привычная же къ разврату душа, напротивъ, всегда смягчитъ, сдѣлаетъ гаже, но въ видѣ порядка и приличія, который надъ вами же имѣетъ претензію превосходить.

— А правда, что васъ изъ полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти трусили? вдругъ спросила она, съ дубу сорвавъ, и глаза ея засверкали.

— Правда; меня, по приговору офицеровъ, попросили изъ полка удалиться, хотя, впрочемъ, я самъ уже передъ тѣмъ подалъ въ отставку.

— Выгнали какъ труса?

— Да, они присудили какъ труса. Но я отказался отъ дуэли не какъ трусъ, а потому что не захотѣлъ подчиниться ихъ тираническому приговору и вызывать на дуэль, когда не находилъ самъ обиды. Знайте, — не удержался я тутъ, — что возстать дѣйствіемъ противъ такой тираніи, и принять всѣ послѣдствія, значило выказать гораздо болѣе мужества, чѣмъ въ какой хотите дуэли.

Я не сдержался, я этой фразой какъ бы пустился въ оправданіе себя; а ей только этого и надо было, этого новаго моего униженія. Она злобно рассмѣялась.



— А правда, что вы три года потомъ по улицамъ въ Петербургѣ какъ бродяга ходили и по гривеннику просили, и подъ билліярдами ночевали?

— Я и на Сѣнной въ домѣ Вяземскаго ночевывалъ. Да, правда; въ моей жизни было потомъ, послѣ полка, много позора и паденія, но не нравственнаго паденія, потому что я самъ же, первый, ненавидѣлъ мои поступки даже тогда. Это было лишь паденіе воли моей и ума и было вызвано лишь отчаяніемъ моего положенія. Но это прошло...

— О, теперь вы лицо—финансистъ!

То есть это намекъ на кассу ссудъ. Но я уже успѣлъ сдержать себя. Я видѣлъ, что она жаждетъ унижительныхъ для меня объясненій и—не далъ ихъ. Кстати же позвонилъ закладчикъ и я вышелъ къ нему въ залу. Послѣ, уже черезъ часъ, когда она вдругъ одѣлась, чтобъ выдти, оставилась предо мной и сказала:

— Вы однакожь мнѣ объ этомъ ничего не сказали до свадьбы?

Я не отвѣтилъ и она ушла.

Итакъ, на завтра, я стоялъ въ этой комнатѣ за дверями и слушалъ какъ рѣшилась судьба моя, а въ карманѣ моемъ былъ револьверъ. Она была пріодѣта, сидѣла за столомъ, а Ефимовичъ передъ нею ломался. И что-жь: вышло-то (я къ чести моей говорю это), вышло точь-въ-точь то, что я предчувствовалъ и предполагалъ, хоть и не сознавая, что я предчувствую и предполагаю это. Не знаю, понятно-ли выражаюсь.

Вотъ что вышло. Я слушалъ цѣлый часъ и цѣлый часъ присутствовалъ при поединкѣ женщины, благороднѣйшей и возвышенной, съ свѣтской, развратной, тупой тварью, съ пресмыкающеюся душой. И откуда, думалъ я, пораженный, откуда эта наивная, эта кроткая, эта малословесная знаетъ все это? Остроумнѣйшій авторъ великосвѣтской комедіи не могъ бы создать этой сцены насмѣшекъ, наивнѣйшаго хо-

хота и святаго презрѣнія добродѣтели къ пороку. И сколько было блеска въ ея словахъ и маленькихъ словечкахъ; какая острота въ быстрыхъ отвѣтахъ, какая правда въ ея осужденіи! И въ тоже время столько дѣвическаго почти простодушія. Она смѣялась ему въ глаза надъ его объясненіями въ любви, надъ его жестами, надъ его предложеніями. Пріѣхавъ съ грубымъ приступомъ къ дѣлу и не предполагая сопротивленія, онъ вдругъ такъ и осѣлъ. Сначала я бы могъ подумать, что тутъ у ней просто кокетство — „кокетство хотъ и развратнаго, но остроумнаго существа, чтобъ дороже себя выставить“. Но нѣтъ, правда засіяла какъ солнце и сомнѣваться было нельзя. Изъ ненависти только ко мнѣ, напускной и порывистой, она, неопытная, могла рѣшиться затѣять это свиданіе, но какъ дошло до дѣла—то у ней тотчасъ открылись глаза. Просто металось существо, чтобы оскорбить меня чѣмъ бы то ни было, но рѣшившись на такую грязь, не вынесло безпорядка. И если, безгрѣшную и чистую, имѣющую идеаль, могъ прельстить Ефимовичъ или кто хотите изъ этихъ великосвѣтскихъ тварей? Напротивъ, онъ возбудилъ лишь смѣхъ. Вся правда поднялась изъ ея души и негодованіе вызвало изъ ея сердца сарказмъ. Повторяю, этотъ шутъ подконецъ совсѣмъ осовѣлъ и сидѣлъ нахмурившись, едва отвѣчая, такъ что я даже сталъ бояться, чтобъ не рискнулъ оскорбить ее изъ низкаго мщенія. И опять повторяю: къ чести моей, эту сцену я выслушалъ почти безъ изумленія. Я какъ будто встрѣтилъ одно знакомое. Я какъ будто шелъ за тѣмъ, чтобъ это встрѣтить. Я шелъ ничему не вѣря, никакому обвиненію, хотя и взялъ револьверъ въ карманъ,—вотъ правда! И могъ развѣ я вообразить ее другою? Изъ за чего-жъ я любилъ, изъ за чего-жъ я цѣнилъ ее, изъ за чего-жъ женился на ней? О, конечно, я слишкомъ убѣдился въ томъ, сколь она меня тогда ненавидѣла, но убѣдился и въ томъ, сколь она непорочна. Я прекратилъ сцену вдругъ. отворивъ двери. Ефимовичъ вскочилъ, я взялъ ее за руку

и пригласилъ со мной выдти. Ефимовичъ нашелся и вдругъ, звонко и раскатисто расхохотался:

— О, противъ священныхъ супружескихъ правъ я не возражаю, уводите, уводите! И знаете, крикнулъ онъ мнѣ вслѣдъ, хотъ съ вами и нельзя драться порядочному человеку, но, изъ уваженія къ вашей дамѣ, я къ вашимъ услугамъ... Если вы, впрочемъ, сами рискнете...

— Слышите! остановилъ я ее на секунду на порогѣ.

Затѣмъ, всю дорогу до дома ни слова. Я велъ ее за руку и она не сопротивлялась. Напротивъ, она была ужасно поражена, но только до дома. Придя домой, она сѣла на стулъ и уперлась въ меня взглядомъ. Она была чрезвычайно блѣдна; губы хотъ и сложились тотчасъ же въ насмѣшку, но смотрѣла она уже съ торжественнымъ и суровымъ вызовомъ и кажется серьезно убѣждена была, въ первые минуты, что я убью ее изъ револьвера. Но я молча вынулъ револьверъ изъ кармана и положилъ на столъ. Она смотрѣла на меня и на револьверъ (Замѣьте: револьверъ этотъ былъ ей знакомъ. Заведенъ онъ былъ у меня и заряженъ съ самаго открытія кассы. Открывая кассу, я порѣшилъ не держать ни огромныхъ собакъ, ни сильнаго лакея, какъ, на примѣръ, держитъ Мозеръ. У меня посѣтителемъ отворяетъ—кухарка. Но занимающимся нашимъ ремесломъ невозможно лишить себя, на всякій случай, самозащиты и я завелъ заряженный револьверъ. Она, въ первые дни, какъ вошла ко мнѣ въ домъ, очень интересовалась этимъ револьверомъ, спрашивала и я объяснилъ даже ей устройство и систему, кромѣ того, убѣдилъ разъ выстрѣлить въ цѣль. Замѣьте все это). Не обращая вниманія на ея испуганный взглядъ, я, полураздѣтый, легъ на постель. Я былъ очень обезсиленъ; было уже около одиннадцати часовъ. Она продолжала сидѣть на томъ же мѣстѣ, не шевелясь, еще около часа, затѣмъ потушила свѣчу и легла, тоже одѣтая, у стѣны, на диванѣ. Въ первый разъ не легла со мной—это тоже замѣьте...

## VI.

## Страшное воспоминаніе.

Теперь это страшное воспоминаніе...

Я проснулся утромъ, я думаю, въ восьмомъ часу и въ комнатѣ было уже почти совсѣмъ свѣтло. Я проснулся разомъ съ полнымъ сознаніемъ и вдругъ открылъ глаза. Она стояла у стола и держала въ рукахъ револьверъ. Она не видѣла, что я проснулся и гляжу. И вдругъ я вижу, что она стала надвигаться ко мнѣ съ револьверомъ въ рукахъ. Я быстро закрылъ глаза и притворился крѣпко спящимъ.

Она дошла до постели и стала надо мной. Я слышалъ все; хоть и настала мертвая тишина, но я слышалъ эту тишину. Тутъ произошло одно судорожное движеніе—и я вдругъ, неудержимо открылъ глаза противъ воли. Она смотрѣла прямо на меня, мнѣ въ глаза, и револьверъ уже былъ у моего виска. Глаза наши встрѣтились. Но мы глядѣли другъ на друга не болѣе мгновенія. Я съ силой закрылъ глаза опять, и въ тоже мгновеніе рѣшилъ изо всей силы моей души, что болѣе уже не шевельнусь и не открою глазъ, чтобы ни ожидало меня.

Въ самомъ дѣлѣ, бываетъ, что и глубоко спящій человѣкъ, вдругъ, открываетъ глаза, даже приподымаетъ на секунду голову и оглядываетъ комнату, затѣмъ, черезъ мгновеніе, безъ сознанія, кладетъ опять голову на подушку и засыпаетъ, ничего не помня. Когда я, встрѣтившись съ ея взглядомъ и ощутивъ револьверъ у виска, вдругъ закрылъ опять глаза и не шевельнулся, какъ глубоко спящій,—она рѣшительно могла предположить, что я въ самомъ дѣлѣ сплю и что ничего не видалъ, тѣмъ болѣе, что совсѣмъ невѣроятно, увидавъ то, что я увидѣлъ, закрыть въ *такое* мгновеніе опять глаза.

Да, невѣроятно. Но она все-таки могла угадать и правду,—это-то и блеснуло въ умѣ моемъ вдругъ, все въ тоже

мгновеніе. О, какой вихрь мыслей, ощущеній, пронесся менѣе чѣмъ въ мгновеніе въ умѣ моемъ, и да здравствуетъ электричество человѣческой мысли! Въ такомъ случаѣ (почувствовалось мнѣ), если она угадала правду и знаетъ, что я не сплю, то я уже раздавилъ ее моею готовностью принять смерть и у ней теперь можетъ дрогнуть рука. Прежняя рѣшимость можетъ разбиться о новое чрезвычайное впечатлѣніе. Говорятъ, что стоящіе на высотѣ какъ-бы тянутся сами книзу, въ бездну. Я думаю много самоубійствъ и убійствъ совершилось потому только, что револьверъ уже былъ взятъ въ руки. Тутъ тоже бездна, тутъ покатость въ сорокъ пять градусовъ, о которую нельзя не скользнуть, и васъ что-то вызываетъ непобѣдимо спустить курокъ. Но сознаніе, что я все видѣлъ, все знаю и жду отъ нея смерти молча—могло удержать ее на покатости.

Тишина продолжалась и вдругъ я ощутилъ у виска, у волосъ моихъ, холодное прикосновеніе желѣза. Вы спросите: твердо ли я надѣялся, что спасусь? Отвѣчу вамъ какъ передъ Богомъ: не имѣлъ никакой надежды, кромѣ развѣ одного шанса изъ ста. Для чего же принималъ смерть? А я спрошу: на что мнѣ была жизнь послѣ револьвера, поднятаго на меня обожаемымъ мною существомъ? Кромѣ того, я зналъ всей силой моего существа, что между нами, въ это самое мгновеніе, идетъ борьба, страшный поединокъ на жизнь и смерть, поединокъ вотъ того самаго вчерашняго труса, выгнаннаго за трусость товарищами. Я зналъ это и она это знала, если только угадала правду, что я не сплю.

Межеть быть этого и не было, можетъ быть я этого и не мыслилъ тогда, но это все же должно было быть, хоть безъ мысли, потому что я только и дѣлалъ, что объ этомъ думалъ потомъ, каждый часъ моей жизни.

Но вы зададите опять вопросъ: зачѣмъ же ея не спасъ отъ злодѣйства? О, я тысячу разъ задавалъ себѣ потомъ этотъ вопросъ—каждый разъ когда, съ холодомъ въ спинѣ,

припоминалъ ту секунду. Но душа моя была тогда въ мрачномъ отчаяніи: я погибалъ, я самъ погибалъ, такъ кого-жъ бы я могъ спасти? И почему вы знаете, хотѣли ли бы еще я тогда кого спасти? Почему знать что я тогда могъ чувствовать?

Сознаніе одникожъ кипѣло; секунды шли, тишина была мертвая; она все стояла надо мной,—и вдругъ я вздрогнулъ отъ надежды! Я быстро отрылъ глаза. Ея уже не было въ комнатѣ. Я всталъ съ постели: я побѣдилъ,—и она была навѣки побѣждена!

Я вышелъ къ самовару. Самоваръ подавался у насъ всегда въ первой комнатѣ и чай разливала всегда она. Я сѣлъ къ столу молча и принялъ отъ нея стаканъ чая. Минуть черезъ пять я на нее взглянулъ. Она была страшно блѣдна, еще блѣднѣе вчерашняго, и смотрѣла на меня. И вдругъ—и вдругъ, видя что я смотрю на нее, она блѣдно усмѣхнулась блѣдными губами, съ робкимъ вопросомъ въ глазахъ. „Стало быть все еще сомнѣвается и спрашиваетъ себя: знаетъ онъ иль не знаетъ, видѣлъ онъ иль не видѣлъ?“ Я равнодушно отвелъ глаза. Послѣ чая заперъ кассу, пошелъ на рынокъ и купилъ желѣзную кровать и ширмы. Возвратясь домой, я велѣлъ поставить кровать въ залъ, а ширмами огородить ее. Это была кровать для нея, но я ей ни сказалъ ни слова. И безъ словъ поняла, черезъ эту кровать, что я „все видѣлъ и все знаю“, и что сомнѣній уже болѣе нѣтъ. На ночь я оставилъ револьверъ какъ всегда на столѣ. Ночью она молча легла въ эту новую свою постель: бракъ былъ расторгнутъ, „побѣждена, но не прощена“. Ночью съ нею сдѣлся бредъ, а на утро горячка. Она пролежала шесть недѣль.

---

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

## I.

## Сонъ гордости.

Лукерья сейчасъ объявила, что жить у меня не станеть и, какъ похоронять барыню,—сойдетъ. Молился на колѣняхъ пять минутъ, а хотѣлъ молиться часъ, но все думаю—думаю, и все болыныя мысли, и болыная голова,—чего-жь тутъ молиться—одинъ грѣхъ! Странно тоже, что мнѣ спать не хочется: въ большемъ, въ слишкомъ большемъ горѣ, послѣ первыхъ сильнѣйшихъ взрывовъ, всегда спать хочется. Приговоренные къ смертной казни чрезвычайно, говорятъ, крѣпко спятъ въ послѣднюю ночь. Да такъ и надо, это по природѣ, а то силы бы не вынесли... Я легъ на диванъ, но не заснулъ...

---

...Шесть недѣль болѣзни мы ходили тогда за ней день и ночь,—я, Лукерья и ученая сидѣлка изъ больницы, которую я нанялъ. Денегъ я не жалѣлъ, и мнѣ даже хотѣлось на нее тратить. Доктора я позвалъ Шредера и платилъ ему по десяти рублей за визитъ. Когда она пришла въ сознаніе, я сталъ меньше являться на глаза. А впрочемъ, чтожь я описываю. Когда она встала совсѣмъ, то тихо и молча сѣла въ моей комнатѣ за особымъ столомъ, который я тоже купилъ для нея въ это время... Да, это правда, мы совершенно молчали; то есть мы начали потомъ говорить, но—все обычное. Я конечно нарочно не распространялся, но я очень хорошо замѣтилъ, что и она какъ бы рада была не сказать лишняго слова. Мнѣ показалось это совершенно естественнымъ съ ея стороны: „Она слишкомъ потрясена и слишкомъ побѣждена, думалъ я, и ужъ конечно ей надо дать позабыть и привыкнуть“. Такимъ об-

разомъ мы и молчали, но я каждую минуту приготавлился про себя къ будущему. Я думалъ, что и она тоже и для меня было страшно занимательно угадывать: объ чемъ именно она теперь про себя думаетъ?

Еще скажу: О, конечно никто не вѣдаетъ сколько я вынесъ, стеноя надъ ней въ ея болѣзни. Но я стоналъ про себя, и стоны давилъ въ груди даже отъ Лукерьи. Я не могъ представить, предположить даже не могъ, чтобъ она умерла не узнавъ всего. Когда же она вышла изъ опасности и здоровье стало возвращаться, я, помню это, быстро и очень успокоился. Мало того, я рѣшилъ *отложить наше будущее* какъ можно на долгое время, а оставить пока все въ настоящемъ видѣ. Да, тогда случилось со мной нѣчто странное и особенное, иначе не умѣю назвать: я восторжествовалъ и одного сознанія о томъ оказалось совершенно для меня довольно. Вотъ такъ и прошла вся зима. О, я былъ доволенъ, какъ никогда не бывалъ, и это всю зиму.

Видите: въ моей жизни было одно страшное внѣшнее обстоятельство, которое до тѣхъ поръ, т. е. до самой катастрофы съ женой, каждый день и каждый часъ давило меня, а именно—потеря репутаціи и тотъ выходъ изъ полка. Въ двухъ словахъ: была тираническая несправедливость противъ меня. Правда, меня не любили товарищи за тяжелый характеръ, и можетъ быть за смѣшной характеръ, хотя часто бываетъ вѣдь такъ, что возвышенное для васъ, сокровенное и чтимое вами, въ тоже время смѣшитъ почему-то толпу вашихъ товарищей. О, меня не любили никогда даже въ школѣ. Меня всегда и вездѣ не любили. Меня и Лукерья не можетъ любить. Случай же въ полку былъ хоть и слѣдствіемъ нелюбви ко мнѣ, но безъ сомнѣнія носилъ случайный характеръ. Я къ тому это, что нѣтъ ничего обиднѣе и несноснѣе какъ погибнуть отъ случая, который могъ быть и не быть, отъ несчастнаго скопленія обстоятельствъ, которыя могли пройти мимо какъ облака.



Для интеллигентнаго существа унинительно. Случай былъ слѣдующій.

Въ антрактѣ, въ театрѣ, я вышелъ въ буфетъ. Гусаръ А—въ, вдругъ войдя, громко при всѣхъ бывшихъ тутъ офицерахъ и публикѣ, заговорилъ съ двумя своими же гусарами, объ томъ, что въ корридорѣ капитанъ нашего полка Безумцевъ сейчасъ только надѣлалъ скандалу „и кажется пьяный“. Разговоръ не завязался, да и была ошибка, потому что капитанъ Безумцевъ пьянъ не былъ и скандалъ былъ собственно не скандалъ. Гусары заговорили о другомъ, тѣмъ и кончилось, но на завтра анекдотъ проникъ въ нашъ полкъ и тотчасъ же у насъ заговорили, что въ буфетѣ изъ нашего полка былъ только я одинъ, и когда гусаръ А—въ дерзко отнесся о капитанѣ Безумцевѣ, то я не подошелъ къ А—ву и не остановилъ его замѣчаніемъ. Но съ какой же бы стати? Если онъ имѣлъ зубъ на Безумцева, то дѣло то было ихъ личное и мнѣ чегожъ ввязываться? Между тѣмъ офицеры начали находить, что дѣло было не личное, а казалось и полка, а такъ какъ офицеровъ нашего полка тутъ былъ только я, то тѣмъ и доказалъ всѣмъ бывшимъ въ буфетѣ офицерамъ и публикѣ, что въ полку нашемъ могутъ быть офицеры не столь щекотливые на счетъ чести своей и полка. Я не могъ согласиться съ такимъ опредѣленіемъ. Мнѣ дали знать, что я могу еще все поправить, если даже и теперь, хотя и поздно, хочу формально объясниться съ А—мъ. Я этого не захотѣлъ и такъ какъ былъ раздраженъ, то отказался съ гордостью. Затѣмъ, тотчасъ же подаль въ отставку,—вотъ вся исторія. Я вышелъ гордый, но разбитый духомъ. Я упалъ волей и умомъ. Тутъ какъ разъ подошло, что сестринъ мужъ въ Москвѣ промоталъ наше маленькое состояніе и мою въ немъ часть, крошечную часть, но я остался безъ гроша на улицѣ. Я бы могъ взять частную службу, но я не взялъ: послѣ блестящаго мундира я не могъ пойти куда нибудь на желѣзную дорогу. Итакъ — стыдъ такъ стыдъ, позоръ такъ позоръ,

паденіе такъ паденіе и чѣмъ хуже тѣмъ лучше,—вотъ что я выбралъ. Тутъ три года мрачныхъ воспоминаній и даже домъ Вяземскаго. Полтора года назадъ умерла въ Москвѣ богатая старуха моя крестная мать и неожиданно, въ числѣ прочихъ, оставила мнѣ по завѣщанію три тысячи. Я подумалъ, и тогда же рѣшилъ судьбу свою. Я рѣшился на кассу ссудъ, не прося у людей прощенія: деньги, затѣмъ уголь и—новая жизнь вдали отъ прежнихъ воспоминаній, вотъ планъ. Тѣмъ не менѣе, мрачное прошлое и на вѣки испорченная репутація моей чести томили меня каждый часъ, каждую минуту. Но тутъ я женился. Случайно или нѣтъ— не знаю. Но вводя ее въ домъ, я думалъ, что ввожу друга, мнѣ же слишкомъ былъ надобенъ другъ. Но я видѣлъ ясно, что друга надо было приготовить, додѣлать, и даже побѣдить. И могъ-ли я что нибудь объяснить такъ сразу этой шестнадцатилѣтней и предубѣжденной? Напримѣръ, какъ могъ бы я, безъ случайной помощи происшедшей страшной катастрофы съ револьверомъ, увѣрить ее, что я не трусъ, и что меня обвинили въ полку какъ труса несправедливо? Но катастрофа подоспѣла кстати. Выдержавъ револьверъ, я отмстилъ всему моему мрачному прошедшему. И хоть никто про то не узналъ, но узнала *она*, а это было все для меня, потому что она сама была все для меня, вся надежда моего будущаго въ мечтахъ моихъ! Она была единственнымъ человѣкомъ, котораго я готовилъ себѣ, а другаго и не надо было,—и вотъ она все узнала; она узнала по крайней мѣрѣ, что несправедливо поспѣшила присоединиться къ врагамъ моимъ. Эта мысль восхищала меня. Въ глазахъ ея я уже не могъ быть подлецомъ, а развѣ лишь страннымъ человѣкомъ, но и эта мысль теперь, послѣ всего что произошло, мнѣ вовсе не такъ не нравилась: странность не порокъ, напротивъ иногда привлекаетъ женскій характеръ. Однимъ словомъ, я нарочно отдалилъ развязку: того, что произошло было слишкомъ пока довольно для моего спокойствія и заключало слишкомъ много кар-

тинъ и матеріала для мечтаній моихъ. Въ томъ-то и скверность, что я мечтатель: съ меня хватило матерьяла, а объ ней я думалъ, что *подождетъ*.

Такъ прошла вся зима, въ какомъ-то ожиданіи чего-то. Я любилъ глядѣть на нее украдкой, когда она сидитъ бывало за своимъ столикомъ. Она занималась работой, бѣльемъ, а по вечерамъ иногда читала книги, которыя брала изъ моего шкафа. Выборъ книгъ въ шкафѣ тоже долженъ былъ свидѣтельствовать въ мою пользу. Не выходила она почти никуда. Передъ сумерками, послѣ обѣда, я выводилъ ее каждый день гулять и мы дѣлали моціонъ; но не совершенно молча какъ прежде. Я именно старался дѣлать видъ, что мы не молчимъ и говоримъ согласно, но, какъ я сказалъ уже, сами мы оба такъ дѣлали, что не распространялись. Я дѣлалъ нарочно, а ей, думалъ я, необходимо „дать время“. Конечно странно, что мнѣ ни разу, почти до конца зимы, не пришло въ голову, что я вотъ изъ-подтишка люблю смотрѣть на нее, а ни одного-то ея взгляда за всю зиму я не поймалъ на себѣ! Я думалъ, что въ ней это робость. Къ тому же она имѣла видъ такой робкой кротости, такого безсилія послѣ болѣзни. Нѣтъ, лучше выжди и—, и она вдругъ сама подойдетъ къ тебѣ...”

Эта мысль восхищала меня неотразимо. Прибавлю одно, иногда я какъ будто нарочно разжигалъ себя самого и дѣйствительно доводилъ свой умъ и духъ до того, что какъ будто впадалъ на нее въ обиду. И такъ продолжалось по нѣскольку времени. Но ненависть моя никогда не могла созрѣть и укрѣпиться въ душѣ моей. Да и самъ я чувствовалъ, что какъ будто это только игра. Да и тогда, хоть и разорвалъ я бракъ—купивъ кровать и ширмы, но никогда, никогда не могъ я видѣть въ ней преступницу. И не потому, что судилъ о преступленіи ея легкомысленно, а потому, что имѣлъ смыслъ совершенно простить ее, съ самаго перваго дня, еще прежде даже чѣмъ купилъ кровать. Однимъ словомъ это странность съ моей стороны, ибо я

нравственно строго. Напротивъ, въ моихъ глазахъ она была такъ побѣждена, была такъ унижена, такъ раздавлена, что я мучительно жалѣлъ ее иногда, хотя мнѣ, при всемъ этомъ рѣшительно правилась иногда идея объ ея униженіи. Идея этого неравенства нашего правилась...

Мнѣ случилось въ эту зиму нарочно сдѣлать нѣсколько добрыхъ поступковъ. Я простилъ два долга, я далъ одной бѣдной женщинѣ безъ всякаго заклада. И женѣ я не сказалъ про это, и вовсе не для того чтобы она узнала сдѣлалъ; но женщина сама пришла благодарить и чуть не на колѣняхъ. Такимъ образомъ огласилось; мнѣ показалось, что про женщину она дѣйствительно узнала съ удовольствіемъ.

Но надвигалась весна, былъ уже апрѣль въ половинѣ, вынули двойныя рамы и солнце стало яркими пучками освѣщать наши молчаливыя комнаты. Но пелена висѣла предо мною и слѣпила мой умъ. Роковая страшная пелена! Какъ это случилось, что все это вдругъ упало съ глазъ и я вдругъ прозрѣлъ и все понималъ! Случай ли это былъ, день ли пришелъ такой срочный, солнечный ли лучъ зажегъ въ оступѣвшемъ умѣ моемъ мысль и догадку? Нѣтъ, не мысль и не догадка были тутъ, а тутъ вдругъ заиграла одна жилка, замертвѣвшая было жилка, затряслась и ожила, и озарила всю оступѣвшую мою душу и бѣсовскую гордость мою. Я тогда точно вскочилъ вдругъ съ мѣста. Да и случилось оно вдругъ и внезапно. Это случилось передъ вечеромъ, часовъ въ пять послѣ обѣда...

## II.

Пелена вдругъ упала.

Два слова прежде того. Еще за мѣсяцъ я замѣтилъ въ ней странную задумчивость, не то что молчаніе, а уже задумчивость. Это тоже я замѣтилъ вдругъ. Она тогда

сидѣла за работой, наклонивъ голову къ шитью и не видала, что я гляжу на нее. И вдругъ меня тутъ же поразило, что она такая стала тоненькая, худенькая, лицо блѣдненькое, губы побѣлѣли,—меня все это, въ цѣломъ, вмѣстѣ съ задумчивостью, чрезвычайно и разомъ фраппировало. Я уже и прежде слышалъ маленькій сухой кашель, по ночамъ особенно. Я тотчасъ всталъ и отправился просить ко мнѣ Шредера, ей ничего не сказавши.

Шредеръ прибылъ на другой день. Она была очень удивлена и смотрѣла то на Шредера, то на меня.

— Да я здорова, сказала она, неопредѣленно усмѣхнувшись.

Шредеръ ее не очень осматривалъ (эти медики бываютъ иногда свысока небрежны), а только сказалъ мнѣ въ другой комнатѣ, что это остлось послѣ болѣзни и что съ весной не дурно куда нибудь съѣздить къ морю, или, если нельзя, то просто переселиться на дачу. Однимъ словомъ, ничего не сказалъ, кромѣ того, что есть слабость или тамъ что-то. Когда Шредеръ вышелъ, она вдругъ сказала мнѣ опять, ужасно серьезно смотря на меня:

— Я совсѣмъ, совсѣмъ здорова.

Но сказавши тутъ же вдругъ покраснѣла, видимо отъ стыда. Видимо это былъ стыдъ. О, теперь я понимаю: ей было стыдно, что я еще *мужъ ея*, забочусь объ ней все еще будто-бы настоящій мужъ. Но тогда я не понялъ и краску приписалъ смиренію (Пелена!).

И вотъ, мѣсяцъ послѣ того, въ пятомъ часу, въ апрѣлѣ, въ яркій солнечный день я сидѣлъ у кассы и велъ разсчетъ. Вдругъ слышу, что она, въ нашей комнатѣ, за своимъ столомъ, за работой, тихо-тихо... запѣла. Эта новость произвела на меня потрясающее впечатлѣніе, да и до сихъ поръ я не понимаю его. До тѣхъ поръ я почти никогда не слыхалъ ее поющую, развѣ въ самые первые дни, когда ввелъ ее въ домъ и когда еще могли рѣзвиться, стрѣляя въ цѣль изъ револьвера. Тогда еще голосъ ея

былъ довольно сильный, звонкій, хотя не вѣрный, но ужасно пріятный и здоровый. Теперь же пѣсенка была такая слабенькая,—о, не то, чтобы заунывная (это былъ какой-то романсъ), но какъ будто бы въ голосѣ было что-то надтреснутое, сломанное, какъ будто голосокъ не могъ справиться, какъ будто сама пѣсенка была больная. Она пѣла вполголоса и вдругъ, поднявшись, голосъ оборвался,—такой бѣдненькій голосокъ, такъ онъ оборвался жалко; она откашлялась и опять тихо-тихо, чуть-чуть, запѣла...

Моимъ волненіямъ засмѣются, но никогда никто не пойметъ, почему я взволновался! Нѣтъ мнѣ еще не было ее жаль, а это было что-то совсѣмъ еще другое. Сначала, по крайней мѣрѣ въ первыя минуты, явилось вдругъ недоумѣніе и страшное удивленіе, страшное и странное, болѣзненное и почти что мстительное: „поетъ и при мнѣ! *Забыла она про меня что-ли?*“

Весь потрясенный я оставался на мѣстѣ, потомъ вдругъ всталъ, взялъ шляпу и вышелъ какъ бы не соображая. По крайней мѣрѣ не знаю зачѣмъ и куда. Лукерья стала подавать пальто.

— Она поетъ? сказалъ я Лукерѣ невольно. Та не понимала и смотрѣла на меня, продолжая не понимать; впрочемъ я былъ дѣйствительно не понятенъ.

— Это она въ первый разъ поетъ?

— Нѣтъ; безъ васъ иногда поетъ, отвѣтила Лукерья.

Я помню все. Я сошелъ лѣстницу, вышелъ на улицу и пошелъ было куда попало. Я прошелъ до угла и сталъ смотрѣть куда-то. Тутъ проходили, меня толкали, я не чувствовалъ. Я подозвалъ извозчика и нанялъ было его къ Полицейскому мосту, не знаю зачѣмъ. Но потомъ вдругъ бросилъ и далъ ему двугривенный:

Это за то, что тебя потревожилъ, сказалъ я бессмысленно смѣясь ему, но въ сердцѣ вдругъ начался какой-то восторгъ.

Я поворотилъ домой учащая шагъ. Надтреснутая, бѣдненькая, порвавшаяся нотка вдругъ опять зазвенѣла въ душѣ моей. Мнѣ духъ захватывало. Падала, падала съ глазъ пелена! Коль запѣла при мнѣ, такъ про меня позабыла, — вотъ что было ясно и страшно. Это сердце чувствовало. Но восторгъ сіялъ въ душѣ моей и пересиливалъ страхъ.

О иронія судьбы! Вѣдь ничего другаго не было и быть не могло въ моей душѣ, всю зиму, кромѣ этого же восторга, но я самъ-то гдѣ былъ всю зиму? былъ ли я-то при моей душѣ? Я вбѣжалъ по лѣстницѣ очень спѣша, не знаю робко ли я вошелъ. Помню только, что весь полъ какъ-бы волновался и я какъ-бы плылъ по рѣкѣ. Я вошелъ въ комнату, она сидѣла на прежнемъ мѣстѣ, шила, наклонивъ голову, но уже не пѣла. Бѣгло и нелюбопытно глянула было на меня, но не взгляды это былъ, а такъ только жестъ, обычный и равнодушный, когда въ комнату входитъ кто нибудь.

Я прямо подошелъ и сѣлъ подлѣ на стулъ, вилоть, какъ помѣшанный. Она быстро на меня посмотрѣла, какъ бы испугавшись: я взялъ ее за руку и не помню, что сказалъ ей, т. е. хотѣлъ сказать, потому что я даже и не могъ говорить правильно. Голосъ мой срывался и не слушался. Да я и не зналъ что сказать, а только задыхался.

— Поговоримъ... знаешь... скажи что нибудь! — вдругъ пролепеталъ я что-то глупое, — о, до ума ли было? Она опять вздрогнула и отшатнулась въ сильномъ испугѣ, глядя на мое лицо, но вдругъ, — *строгое удивленіе* выразилось въ глазахъ ея. Да, удивленіе и *строгое*. Она смотрѣла на меня большими глазами. Эта строгость, это строгое удивленіе разомъ такъ и размозжили меня: „Такъ тебѣ еще любви? любви?“ — какъ будто спросилось вдругъ въ этомъ удивленіи, хотъ она и молчала. Но я все прочелъ, все. Все во мнѣ сотряслось и я такъ и рухнулъ къ ногамъ ея. Да, я свалился ей въ ноги. Она быстро вскочила, но я съ чрезвычайною силою удержалъ ее за обѣ руки.

И я понималъ вполне мое отчаяніе о, понималъ! Но въ-рители, восторгъ кипѣлъ въ моемъ сердце до того неудержимо, что я думалъ, что я умру. Я цаловалъ ея ноги въ упоеніи и въ счастья. Да, въ счастья, безмѣрномъ и безконечномъ, и это при пониманіи-то всего безвыходнаго моего отчаянія! Я плакалъ, говорилъ что-то, но не могъ говорить. Испугъ и удивленіе смѣнились въ ней вдругъ какою-то озабоченною мыслью, чрезвычайнымъ вопросомъ и она странно смотрѣла на меня, дико даже, она хотѣла что-то поскорѣе понять и улыбнулась. Ей было страшно стыдно, что я цалую ея ноги и она отнимала ихъ, но я тутъ же цаловалъ то мѣсто на полу гдѣ стояла ея нога. Она видѣла это и стала вдругъ смѣяться отъ стыда (знаете это когда смѣются отъ стыда). Наступила истерика, я это видѣлъ, руки ея вздрагивали, — я объ этомъ не думалъ и все бормоталъ ей, что я ее люблю, что не встану, „дай мнѣ цаловать твое платье... такъ всю жизнь на тебя молиться“... Не знаю, не помню, — и вдругъ она зарыдала и затряслась; наступилъ страшный припадокъ истерики. Я испугалъ ее.

Я перенесъ ее на постель. Когда прошелъ припадокъ, то присѣвъ на постели, она, съ страшно-убитымъ видомъ, схватила мои руки и просила меня успокоиться: „Полноте, не мучьте себя, успокойтесь!“ и опять начинала плакать. Весь этотъ вечеръ я не отходилъ отъ нея. Я все ей говорилъ, что повезу ее въ Булонь купаться въ морѣ, теперь, сейчасъ, черезъ двѣ недѣли, что у ней такой надтреснутый голосокъ, я слышалъ давеча, что я закрою кассу, продамъ Добронравову, что начнется все новое, а главное въ Булонь, въ Булонь! Она слушала и все боялась. Все больше и больше боялась. Но главное для меня было не въ томъ, а въ томъ, что мнѣ все болѣе и неудержимѣе хотѣлось опять лежать у ея ногъ, и опять цаловать, цаловать землю, на которой стоятъ ея ноги и молиться ей и — „больше я ничего, ничего не спрошу у тебя“, повторялъ я поминутно, — „не отвѣчай мнѣ ничего, не замѣчай меня вовсе, и только дай



изъ угла смотрѣть на тебя, обрати меня въ свою вещь, въ собачонку"... Она плакала.

— *А я думала, что вы меня оставите такъ,*—вдругъ вырвалось у ней невольно,—такъ невольно, что можетъ быть она совѣмъ и не замѣтила какъ сказала, а между тѣмъ — о, это было самое главное, самое роковое ея слово и самое понятное для меня въ тотъ вечеръ, и какъ будто меня полоснуло отъ него ножомъ по сердцу! Все оно объяснило мнѣ, все, но пока она была подлѣ, передъ моими глазами, я не удержимо надѣялся и былъ страшно счастливъ. О, я страшно утомилъ ее въ тотъ вечеръ, и понималъ это, но непрерывно думалъ, что все сейчасъ же передѣлаю. Наконецъ, къ ночи, она совѣмъ обезсилѣла, я уговорилъ ее заснуть и она заснула тотчасъ, крѣпко. Я ждалъ бреда, бредъ былъ, но самый легкій. Я вставалъ ночью почти поминутно, тихонько въ туфляхъ приходилъ смотрѣть на нее. Я ломалъ руки надъ ней, смотря на это больное существо на этой бѣдной коечкѣ, желѣзной кровати, которую я ей купилъ тогда за три рубля. Я становился на колѣни, но не смѣлъ целовать ея ногъ у спящей (безъ ея-то воли!). Я становился молиться Богу, но вскакивалъ опять. Лукерья присматривалась ко мнѣ и все выходила изъ кухни. Я вышелъ къ ней и сказалъ, чтобы она легла и что завтра начнется „совѣмъ другое“.

И я въ это слѣпо, безумно, ужасно вѣрилъ. О восторгъ, восторгъ заливалъ меня! Я ждалъ только завтрашняго дня. Главное, я не вѣрилъ никакой бѣдѣ, не смотря на симптомы. Смыслъ еще не возвратился весь, не смотря на упавшую пелену и долго, долго не возвращался,—о, до сегодня, до самого сегодня!! Да и какъ, какъ онъ могъ тогда возвратиться: вѣдь она тогда была еще жива, вѣдь она была тутъ же передо мной, а я передъ ней: „Она завтра проснется, и я ей все это скажу, и она все увидитъ“. Вотъ мое тогдашнее разсужденіе, просто и ясно потому и восторгъ! Главное тутъ эта поѣздка въ Булонь. Я почему-то все ду-

малъ, что Булонь — это все, что въ Булони что-то заключается окончательное. „Въ Булонь, въ Булонь!...“ Я съ безуміемъ ждалъ утра.

### III.

#### Слишкомъ понимаю.

А вѣдь это было всего только нѣсколько дней назадъ, пять, дней, всего только пять дней, въ прошлый вторникъ! Нѣтъ, нѣтъ, еще бы только немного времени, только бы капельку подождали и—и я бы развѣялъ мракъ!—Да развѣ она не успокоилась? Она на другой же день слушала меня уже съ улыбкою, не смотря на замѣшательство... Главное, все это время, всѣ пять дней, въ ней было замѣшательство, или стыдъ. Боялась тоже, очень боялась. Я не спорю, я не буду противорѣчить, подобно безумному: страхъ былъ, но вѣдь какже было ей не бояться? Вѣдь мы такъ давно стали другъ другу чужды, такъ отучились одинъ отъ другаго, и вдругъ все это... Но я не смотрѣлъ на ея страхъ, сіяло новое!... Правда, несомнѣнная правда, что я сдѣлалъ ошибку. И даже было можетъ быть много ошибокъ. Я и какъ проснулись на другой день, еще съ утра (это въ среду было) тотчасъ вдругъ сдѣлалъ ошибку: я вдругъ сдѣлалъ ее моимъ другомъ. Я поспѣшилъ, слишкомъ, слишкомъ, по исповѣди была нужна, необходима—куда, болѣе чѣмъ исповѣди! Я не скрылъ даже того, что и отъ себя всю жизнь скрывалъ. Я прямо высказалъ, что цѣлую зиму только и дѣлалъ что увѣренъ былъ въ ея любви. Я ей разъяснилъ, что касса ссудъ была лишь паденіемъ моей воли и ума, личная идея самобичеванія и самовосхваленія. Я ей объяснилъ, что я тогда въ буфетѣ дѣйствительно струсилъ, отъ моего характера, отъ мнительности: поразила обстановка, буфетъ поразилъ; поразило-то: какъ это я вдругъ выйду, и не выйдетъ-ли глупо? Струсилъ не дуэли, а того что вый-

детъ глупо... А потомъ ужъ не хотѣлъ сознаться и мучилъ всѣхъ, и ее за то мучилъ, и на ней затѣмъ и женился, чтобы ее за то мучить. Вообще я говорилъ большею частью какъ въ горячкѣ. Она сама брала меня за руки и просила перестать: „Вы преувеличиваете... вы себя мучаете“ — и опять начинались слезы, опять чуть не припадки! Она все просила, чтобы я ничего этого не говорилъ и не вспоминалъ.

Я не смотрѣлъ на просьбы, или мало смотрѣлъ: весна, Булонь! Тамъ солнце, тамъ новое наше солнце, я только это и говорилъ! Я заперъ кассу, дѣла передалъ Добронравову. Я предложилъ ей вдругъ раздать все бѣднымъ, кромѣ основныхъ трехъ тысячъ, полученныхъ отъ крестной матери, на которыя и съѣздили бы въ Булонь, а потомъ воротимся и начнемъ новую трудовую жизнь. Такъ и положили, потому что она ничего не сказала... она только улыбнулась. И кажется, болѣе изъ деликатности улыбнулась, чтобы меня не огорчить. Я видѣлъ вѣдь, что я ей въ тягость, не думайте, что я былъ такъ глупъ и такой эгоистъ, что этого не видѣлъ. Я все видѣлъ, все до послѣдней черты, видѣлъ и зналъ лучше всѣхъ; все мое отчаяніе стояло на виду!

Я ей все про меня и про нее рассказывалъ. И про Лукерью. Я говорилъ, что я плакалъ... О, я вѣдь и переменялъ разговоръ, я тоже старался отнюдь не напоминать про нѣкоторыя вещи. И даже вѣдь она оживилась, разъ или два, вѣдь я помню, помню! Зачѣмъ вы говорите, что я смотрѣлъ и ничего не видѣлъ? И еслибы только *это* не случилось, то все бы воскресло. Вѣдь рассказывала же она мнѣ еще третьяго дня, когда разговоръ зашелъ о чтеніи, и о томъ, что она въ эту зиму прочитала — вѣдь рассказывала же она и смѣялась, когда припомнила эту сцену Жиль-Блаза съ архіепископомъ Гренадскимъ. И какимъ дѣтскимъ смѣхомъ, милымъ, точно какъ прежде въ невѣстахъ (мигъ! мигъ!); какъ я былъ радъ! Меня это ужасно поразило, впрочемъ, про архіепископа: вѣдь нашла же она стало быть

столько спокойствія духа и счастья чтобы смѣяться педеру когда сидѣла зимой. Стало быть уже вполнѣ начала успокоиваться, вполнѣ начала уже вѣрить, что я оставляю ее *такъ*. „Я думала, что вы меня оставите *такъ*“ — вотъ вѣдь что она произнесла тогда во вторникъ! О, десятилѣтней дѣвочки мысль! И вѣдь вѣрила, вѣрила, что и въ самомъ дѣлѣ все останется *такъ*: она за своимъ столомъ, а я за своимъ, и такъ мы оба, до шестидесяти лѣтъ. И вдругъ— я тутъ подхожу, мужъ, и мужу надо любви! О недоразумѣніе, о слѣпота моя!

Ошибка тоже была, что я на нее смотрѣлъ съ восторгомъ; надо было скрѣпиться, а то восторгъ пугалъ. Но вѣдь и скрѣпился же я, я не цѣловалъ уже болѣе ея ногъ. Я ни разу не показалъ виду что... ну что я мужъ,—о, и въ умѣ моемъ этого не было, я только молился! Но вѣдь нельзя же было совсѣмъ молчать, вѣдь нельзя же было не говорить вовсе! Я ей вдругъ высказалъ, что наслаждаюсь ея разговоромъ и что считаю ее несравненно, несравненно образованнѣе и развитѣе меня. Она очень покраснѣла и конфузясь сказала, что я преувеличиваю. Тутъ я, съ дуруто, не сдержавшись, рассказалъ въ какомъ я былъ восторгѣ когда, стоя тогда за дверью, слушалъ ея поединокъ, поединокъ невинности съ той тварью, и какъ наслаждался ея умомъ, блескомъ остроумія и при такомъ дѣтскомъ простодушіи. Она какъ бы вся вздрогнула, пролепетала было опять, что я преувеличиваю, но вдругъ все лицо ея омрачилось, она закрылась руками и зарыдала... Тутъ ужъ и я не выдержалъ: опять упалъ передъ нею, опять сталъ цѣловать ея ноги и опять кончилось припадкомъ, также какъ во вторникъ. Это было вчера вечеромъ, а на утро...

На утро?! Безумецъ, да вѣдь это утро было сегодня, еще давеча, только давеча!

Слушайте и вникните: вѣдь когда мы сошлись давеча у самовара (это послѣ вчерашняго-то припадка), то она даже сама поразила меня своимъ спокойствіемъ, вотъ вѣдь

что было! А я-то всю ночь трепеталъ отъ страху за вчерашнее. Но вдругъ она подходитъ ко мнѣ, становится сама передо мной и, сложивъ руки (давеча, давеча!), начала говорить мнѣ, что она—преступница, что она это знаетъ, что преступленіе ее мучило всю зиму, мучаетъ и теперь... что она слишкомъ цѣнитъ мое великодушіе... „я буду вашей вѣрной женой, я васъ буду уважать...“ Тутъ я вскочилъ и какъ безумный обнялъ ее! Я цѣловалъ ее, цѣловалъ ея лицо, въ губы, какъ мужъ, въ первый разъ послѣ долгой разлуки. И зачѣмъ только я давеча ушелъ, всего только на два часа... наши заграничные паспорта... О Боже! Только бы пять минутъ, пять минутъ раньше воротиться?... А тутъ эта толпа въ нашихъ воротахъ, эти взгляды на меня... о Господи!

Лукерья говоритъ (о, я теперь Лукерью ни за что не отпущу, она все знаетъ, она всю зиму была, она мнѣ все рассказывать будетъ),—она говоритъ, что когда я вышелъ изъ дому, и всего-то минутъ за двадцать какихъ нибудь до моего прихода,—она вдругъ вошла къ барынѣ въ нашу комнату, что-то спросить, не помню, и увидала, что образъ ея (тотъ самый образъ Богородицы) у ней вынуть, стоитъ передъ нею на столѣ, а барыня какъ будто сейчасъ только передъ нимъ молилась. — Что вы барыня? — „Ничего, Лукерья, ступай. „Постой, Лукерья“, подошла къ ней и поцѣловала ее. — Счастливы вы, говорю, барыня? — „Да, Лукерья“. — Давно, барыня, слѣдовало бы барину къ вамъ придти прощенія попросить... Слава Богу что вы помирились.—„Хорошо, говоритъ, Лукерья, уйди Лукерья“, и улыбнулась этакъ, да странно такъ. Такъ странно, что Лукерья вдругъ черезъ десять минутъ воротилась посмотрѣть на нее: „Стоитъ она у стѣны, у самаго окна, руку приложила къ стѣнѣ, а къ рукѣ прижала голову, стоитъ этакъ и думаетъ. И такъ глубоко задумавшись стоитъ, что и не слыхала какъ я стою и смотрю на нее изъ той комнаты. Вижу я какъ будто она улыбается, стоитъ, ду-

масть и улыбается. Посмотрѣла я на нее, повернулась тихонько, вышла, а сама про себя думаю, только вдругъ слышу отворили окошко. Я тотчасъ пошла сказать что „свѣжо, барыня, не простудились бы вы“, и вдругъ вижу, она стала на окно и ужъ вся стоитъ, во весь ростъ, въ отворенномъ окнѣ ко мнѣ спиной, въ рукахъ образъ держитъ. Сердце у меня тутъ же упало, кричу: „барыня барыня!“ Она услышала, двинулась было повернуться ко мнѣ, да не повернулась, а шагнула, образъ прижала къ груди и—бросилась изъ окошка!“

Я только помню, что когда я въ ворота вошелъ она была еще теплая. Главное, они всѣ глядятъ на меня. Сначала кричали, а тутъ вдругъ замолчали и всѣ передо мной разступаются и...и она лежитъ съ образомъ. Я помню, какъ во мракѣ, что я подошелъ молча и долго глядѣлъ, и всѣ обступили и что-то говорятъ мнѣ. Лукерья тутъ была, а я не видалъ. Говорить, что говорила со мной. Помню только того мѣщанина: онъ все кричалъ мнѣ, что „съ горстку крови изо рта вышло, съ горстку, съ горстку!“ и указывалъ мнѣ на кровь тутъ же на камнѣ. Я кажется тронулъ кровь пальцемъ, запачкалъ палецъ, гляжу на палецъ (это помню), а онъ мнѣ все: „съ горстку, съ горстку!“

— Да что такое съ горстку? завопилъ я, говорятъ, изо всей силы, поднялъ руки и бросился на него...

О, дико, дико! Недоразумѣніе! Неправдоподобіе! Невозможность!

#### IV.

Всего только пять минутъ опоздалъ.

А развѣ нѣтъ? Развѣ это правдоподобно? Развѣ можно сказать, что это возможно? Для чего, зачѣмъ умерла эта женщина?

О повѣрьте, понимаю; но для чего она умерла—все-таки вопросъ. Испугалась любви моей, спросила себя серьезно: принять или не принять, и не вынесла вопроса, и лучше умерла. Знаю, знаю, нечего голову ломать: общаній слишкомъ много надавала, испугалась, что сдержать нельзя,—ясно. Тутъ есть нѣсколько обстоятельствъ совершенно ужасныхъ.

Потому что для чего она умерла? все-таки вопросъ стоитъ. Вопросъ стучить, у меня въ мозгу стучить. Я бы и оставилъ ее только *такъ*, еслибъ ей захотѣлось чтобъ осталось *такъ*. Она тому не повѣрила, вотъ что! Нѣтъ—нѣтъ, я вру, вовсе не это. Просто потому что со мной надо было честно, любить такъ всецѣло любить, а не такъ какъ любила бы купца. А такъ какъ она была слишкомъ цѣломудренна, слишкомъ чиста, чтобъ согласиться на такую любовь какой надо купцу, то и не захотѣла меня обманывать. Не захотѣла обманывать полулюбовью подъ ивдомъ любви, или четверть любовью. Честны ужъ очень, вотъ что-съ! Широкость сердца-то хотѣлъ тогда привить, помните? Странная мысль.

Ужасно любопытно: уважала ли она меня? Я не знаю, презирала ли она меня или нѣтъ? Не думаю чтобъ презирала. Странно ужасно: почему мнѣ ни разу не пришло въ голову, во всю зиму, что она меня презираетъ? Я въ высшей степени былъ увѣренъ въ противномъ до самой той минуты, когда она поглядѣла на меня тогда съ *строгимъ удивленіемъ*. Съ *строгимъ*, именно. Тутъ-то я сразу и понялъ, что она презираетъ меня. Понялъ безвозвратно, навѣки! Ахъ, пусть, пусть презирала бы, хоть всю жизнь, но—пусть бы она жила, жила! Давеча еще ходила, говорила. Совсѣмъ не понимаю какъ она бросилась изъ окошка! И какъ бы могъ я предположить даже за пять минутъ? Я позвалъ Лукерью. Я теперь Лукерью ни за что не отпущу, ни за что!

О, намъ еще можно было сговориться. Мы только

страшно отвыкли въ зиму другъ отъ друга, но развѣ нельзя было опять пріучиться? Почему, почему мы бы не могли сойтиться и начать опять новую жизнь? Я великодушень, она тоже—вотъ и точка соединенія! Еще бы нѣсколько словъ, два дня не больше, и она бы все поняла.

Главное, обидно то что все это случай,—простой, варварскій, косный случай. Вотъ обида! Пять минутъ, всего, всего только пять минутъ опоздалъ! Приди я за пять минутъ—и мгновеніе пронеслось бы мимо какъ облако, и ей бы никогда потомъ не пришло въ голову. И кончилось бы тѣмъ, что она бы все поняла. А теперь опять пустыя комнаты, опять я одинъ. Вонъ маятникъ стучить, ему дѣла нѣтъ, ему ничего не жаль. Нѣтъ никого—вотъ бѣда!

Я хожу, я все хожу. Знаю, знаю, не подсказывайте: вамъ смѣшно, что я жалеюся на случай и на пять минутъ? Но вѣдь тутъ очевидность. Разсудите одно: она даже записки не оставила, что вотъ дескать „не вините никого въ моей смерти“, какъ всѣ оставляютъ. Неужто она не могла разсудить, что могутъ потревожить даже Лукерью: „одна дескать съ ней была, такъ ты и толкнула ее“. По крайней мѣрѣ затаскали бы безъ вины, еслибы только на дворѣ четверо человѣкъ не видали изъ окошекъ изъ флигеля и со двора, какъ стояла съ образомъ въ рукахъ и сама кинулась. Но вѣдь и это случай, что люди стояли и видѣли. Нѣтъ, все это—мгновеніе, одно лишь безотчетное мгновеніе. Внезапность и фантазія! Чтожь такое, что предъ образомъ молилась? Это не значить, что передъ смертью. Все мгновеніе продолжалось можетъ быть всего только какихъ нибудь десять минутъ, все рѣшеніе—именно когда у стѣны стояла, прислонившись головой къ рукѣ и улыбалась. Влетѣла въ голову мысль, закружилась и—и не могла устоять передъ нею.

Тутъ явное недоразумѣніе, какъ хотите. Со мной еще можно бы жить. А что если малокровіе? Просто отъ мало-



кровія, отъ истощенія жизненной энергіи? Устала она въ зиму, вотъ что...

Опоздалъ!!!

Какая она тоненькая въ гробу, какъ заострился носикъ? Рѣсницы лежатъ стрѣлками. И вѣдь какъ упала—ничего не размозжила, не сломала! Только одна эта „горстка крови“. Дессертная ложка то-есть. Внутреннее сотрясеніе. Странная мысль: еслибы можно было не хоронить? Потому что если ее унесутъ, то... о, нѣтъ, унести почти невозможно! О, я вѣдь знаю, что ее должны унести, я не безумный, и не брежу вовсе, напротивъ никогда еще такъ умъ не сіялъ,—но какже такъ опять никого въ домѣ, опять двѣ комнаты, и опять я одинъ съ закладами. Бредъ, бредъ, вотъ гдѣ бредъ! Измучилъ я ее—вотъ что!

Что мнѣ теперь ваши законы? Къ чему мнѣ ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вѣра? Пусть судить меня вашъ судья, пусть приведутъ меня въ судъ, въ вашъ гласный судъ, и я скажу, что я не признаю ничего. Судья крикнетъ: „Молчите, офицеръ!“ А я закричу ему: „гдѣ у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался? Зачѣмъ мрачная косность разбила то что всего дороже? Зачѣмъ же мнѣ теперь ваши законы? Я отдѣляюсь“. О, мнѣ все равно!

Слѣпая, слѣпая! Мертвая, не слышитъ! Не знаешь ты какимъ бы раемъ я оградилъ тебя. Рай былъ у меня въ душѣ, я бы насадилъ его кругомъ тебя! Ну, ты бы меня не любила,—и пусть, ну что же? Все и было бы *такъ*, все бы и оставалось *такъ*. Разсказывала бы только мнѣ какъ другу,—вотъ бы и радовались и смѣялись радостно, глядя другъ другу въ глаза. Такъ бы и жили. И еслибъ и другаго полюбила,—ну и пусть, пусть! Ты бы шла съ нимъ и смѣялась, а я бы смотрѣлъ съ другой стороны улицы... О, пусть все, только пусть бы она открыла хоть разъ глаза! На одно мгновеніе, только на одно! взглянула бы на меня, вотъ какъ давеча, когда стояла передо мной и

давала клятву, что будетъ вѣрной женой! О, въ одномъ бы взглядѣ все поняла!

Косность! О, природа! Люди на землѣ одни—вотъ бѣда! „Есть ли въ полѣ живъ человѣкъ“?—кричитъ русскій богатырь. Кричу и я, не богатырь и никто не откликается. Говорятъ солнце живить вселенную. Взойдетъ солнце и—посмотрите на него, развѣ оно не мертвецъ? Все мертво и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругомъ нихъ молчаніе—вотъ земля! „Люди любите другъ друга“—кто это сказалъ? чей это завѣтъ? Стучить маятникъ безчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ея стоятъ у кровати, точно ждутъ ее... Нѣтъ, серьезно, когда ее завтра унесутъ, чтожь я буду?

В. Достоевскій.

